

Анатолий ТОСС



Инесе,
или О том,
как меня убивали

Анатолий Тосс

Инесе, или О том, как меня убивали

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=167792

Инесе, или О том, как меня убивали: АСТ, АСтрель; Москва; 2008

ISBN 978-5-17-049793-5, 978-5-271-19465-8

Аннотация

В «Инесе...» Анатолий Тосс – двойной номинант Букеровской премии, романы которого переведены на многие языки мира, – рассказывает о событиях, пережитых им самим в течение одного полного светового дня. Событиях веселых, лирических, но одновременно и драматических. Неожданность смешается с любовью, та – с беспечным танцем в лесу, потом все это сместится в шумную квартиру, чтобы покрыться в результате мраком уличного преступления. Которое, впрочем, останется не вполне совершенным...

Анатолий Тосс

Инесе, или О том, как меня убивали

Дорогой друг, читатель (-ница)!

Если попадались тебе мои прежние книги (а если не попадались, то тоже нормально), то ты помнишь, что выдвинута в них зрелая догадка, что мы все – и ты и я в том числе – проживаем не одну-единственную, а несколько разнообразных судеб. И успеваем мы все это в рамках той самой одной, физически отведенной нам жизни.

Если же провести незамысловатую параллель, то получится, что и литературная жизнь вполне имеет право на несколько не связанных между собой судеб. Вот и небольшая книжка, которую ты сейчас держишь в руках, začínает еще одну мою, отличную от прежних, судьбу.

О чем же она, эта книжка? – спросишь ты с любопытством. Да о нас с тобой. О нашем прошлом, о настоящем да, глядишь, и о будущем тоже. О тех многих, кого мы научились любить, и о тех единицах, кого просто любим по привычке. А кроме того, о том, казалось бы, простом, что мы стали понимать только с возрастом, и о том, что еще придется понять, и о том, что, наверное, никогда не удастся.

Конечно же, о женщинах, но и о мужчинах тоже, а еще

и о тех и о других одновременно, ну а значит, и о будущей вокруг нас беспредельной межполовой и прочей разборке или, по-другому, – человеческих отношениях.

В общем – шекспировские такие вопросы подняты в ней. На которые, скажу честно, не всегда даны шекспировские ответы. Мои ответы порой на них даны вместо шекспировских. А порой – и никакие не даны.

«Ну и что? – снова спросишь ты. – Подумаешь. Читали про такое и в прежних твоих романах». «Возможно, – соглашусь я, – но совсем по-другому читали. Так как написано было по-другому».

Например, можно упомянуть о разнице в стиле: здесь – легком, искреннем, даже беспечном, но и ироничном тоже, можно сказать, с веселой, жизнерадостной усмешкой. А можно и по-другому – лирическом, оставляющем украдку, только тебе самому предназначенную улыбку, а еще настроение, которое тоже только для тебя одного, которым тоже необязательно делиться, потому как интимное оно. Как, знаешь, остается запах солнца на коже после прозрачного летнего дня.

Но главное все же – легкость. Обволакивающая легкость, вместе с которой ты, возможно, унесешься от надоедливо-го земного притяжения и попаришь немного на не достигаемой иначе высоте. Да-да, я надеюсь, что все именно так и произойдет, все именно так ты и прочувствуешь, скользя от страницы к странице.

И еще. Если все же ты читал мои прежние книги (а если не читал, то опять же – нормально), то помнишь, конечно, что написаны они от самого что ни на есть женского лица. Отталкиваясь от женской, так сказать, перспективы.

Но чувствую, что пришло время поменять перспективу. А раз чувствую, так и поменяю. Да и то, сколько можно просвечивать плотно облепившую нас жизнь под неизменно женским углом? Пора разменять углы и просветить ее – жизнь – под всевозможно разными, но одинаково проникательными лучами.

Ну и последнее.

Допустим, друг мой читатель (-ница), прочтешь ты эту книжечку. А прочитав, задашься законным вопросом, мол, а будут ли еще подобные истории?

Забегу впопыхах вперед и отвечу: если смогу – напишу. Ведь, по сути, собираюсь я раскрыться перед тобой на их малоформатных страницах, неприлично обнаженно раскрыться, без утайки и кокетства, так как хочу, чтобы узнал ты про меня все. А значит, особенно важно мне, чтобы прилились они тебе, истории эти. Важно, чтобы сглаживал ты их в одно-двухчасье, и все, что предполагалось строчками выше – про улыбку, беспечность, настроение, легкость, – все оказалось правдой. Для того ведь и писал. Для правды.

Твой старый приятель

(потому и обращаюсь к тебе на «ты»)

Анатолий Тосс

Да, да, меня! Не самого тогда пугливого, конечно, но и не нарывающегося особенно тоже. Во всякие там подозрительные «зоны риска» статистически не входящего и отнюдь не стремящегося ни к каким сомнительным, попахивающим криминалом ситуациям. Тем не менее убивали! Хотя и не убили.

Но начну я эту историю не так. Начну я ее по-другому:

О Инесса, огонь чресел моих! Зачем ты в прошлом? Зачем ты не в настоящем? И хотя про «чресла», признаю, невольный плагиат вышел, но зачем же ты все-таки ходишь где-то там по чужим, сдавленным с боков манхэттенским улицам, почему именно там ты наталкиваешься на завлекающие мужские взгляды, и хоть, может, и отводишь стыдливо глаза иногда, но ведь не на меня же отводишь. Не на меня! Да и где он я? — кто меня знает.

Вот именно, где он я, Инесса, где я, в каком таком участке твоей пугливой памяти я затесался? Наверняка давно уже отодвинут за изгородь трепетного, наверняка переведен на задворки, где вместе с десятком таких же недотеп твоего нескучного прошлого уныло разгребаю тяжелый снег в тягучие снегопады, чтобы, не дай бог, не завалило твоего сегодняшнего взволнованного избранника.

Но я не в обиде, чего мне! Я-то ведь знаю про вас, жен-

щин, а заодно и про вашу, недаром говорят, «девичью память». Я ведь понимаю, что на фиг ей сдалось оно, это обозное прошлое, чего его волочить за собой по ухабинам, чего надрываться, чего его не сбросить омертвелым балластом, ведь только тогда, как известно, каждый следующий – лучше предыдущего.

Впрочем, зачем это я всех вас разом под одну гребенку? Зачем упрощаю? Есть и среди вас, женщин, чуткие, боящиеся спугнуть ночное, летучее, и даже просыпающиеся порой от сладкого, хоть и тревожного, сна. Ведь и ты, милая моя Инесса, я знаю, чуткая, и может быть, пусть лишь порой, но швыряю я в сторону свою корявую лопату, отряхиваюсь от налипшего снега и, сбросив ватник и ушанку, мчусь по забытым закоулкам твоей памяти на призывный, нетерпеливый голос, чтобы к самой нужной секунде отозваться как раз там – с внутренней стороны твоих взметнувшихся в удивлении бровей. «Только», вспомнишь ты забытое слово, «Толенька», а я уже тут как тут и вдуваю, вдуваю жизнь в твой еще не окрепший сон.

Может, все именно так, откуда мне знать? Не знаю. Но даже если и так, то что мне с того? Пусть твои губы искусаны, пусть мечешься ты в постели, пусть не можешь удержать ты мятежные руки свои... Мне-то что с того? Я-то ведь не рядом, а далеко, я-то ведь и не ведаю совсем, и не испытываю ни хрена. И если используешь ты меня сейчас в сво-

ей фантазии (корыстно, заметь, используешь, эксплуатируешь, можно сказать, мой уже наверняка потрепанный образ), то повторю – мне-то что с того? Образ ты мой используешь, мой копирайт напрямую нарушаешь, взламываешь, можно сказать, его, а я с этого твоего удовольствия никаких роилтис, заметь, не получаю. Справедливо ли это, Инесса? Нет, несправедливо! А если ты не одна, если, представь, вас, ну, пусть не много, а, скажем, несколько, чувствуешь, какие от меня дивиденды утекают!

Хотя, конечно, с какой стороны посмотреть. А если с другой стороны, то от меня вроде бы и не убывает, не прибавляется, конечно, но и не убывает ведь тоже. А это значит, пользуйтесь мной, милые, пользуйтесь на здоровье, и ты, Инесса, давай фигачь, заряжайся мною до упора. Вот он я, весь твой!

Ну, а раз так, может быть, Инесса, возьмем да и вспомним мы с тобой что-нибудь в унисон, я имею в виду, чтобы как раньше, одновременно, ведь есть доннерветтер (это почему-то по-немецки вырвалось), в конце концов, что вспомнить. Ну вот хотя бы о том, как меня убивали.

Короче, начну, как полагается, с описания времени. Время было солнечное! Тебе, Инка, было тогда лет приблизительно двадцать один, потому и звал я тебя по-простому – Инка, и фигурой ты обладала гибкой и стройной, но не в фигуре даже дело. И если прочтешь ты когда-нибудь эти строки и задумаешься над ними, а потом спросишь меня мысленно:

«А в чем же тогда дело?» – то отвечу я тебе: «Все дело в ЖЕЛАНИИ!»

Но ты не спросишь, к чему лишние вопросы, когда и так все понятно. Просто дарование у тебя такое – рождать в противоположных желание, и дарование это, как говорится, от Бога и заложено было в тебя с рождения на самом бессознательном, молекулярном уровне. К тому же, полагаю, ты вовремя осознала его, еще задолго до меня, и оценила, и пестовала ты его, свое дарование, и окучивала, так что когда пересеклись наши молодые судьбы, расцветало оно в тебе во всей своей полноте и сногсшибательности. Ну а тот факт, что ты сама отлично знала о нем, – только добавлял...

Да-да, Инесса, мы оба знали и знали всегда – все дело в блядстве, прости за перегруженное слово, но сейчас все так пишут, и даже пожилые, старой закваски, вот и я позволил. Именно в нем, но не в том, вульгарном, наружу, с вихлянием бедер, перекрашенным до неузнаваемости лицом и прочими дешевыми приметами, против которых я, в общем, тоже ничего не имею, но которые вот именно сейчас я не хочу даже перечислять.

Нет, все дело во внутреннем, скрытом для неумелого взгляда и обнаруживающем себя только едва-едва, даже непонятно в чем – в повороте головы, движении бедер, в том, как ступню ставит... Да и вообще оно все изнутри исходит, и талант это, как я уже говорил, врожденный – либо обладаешь, либо нет. Научиться сложно, можно, конечно, но слож-

но, и если есть это в тебе, тогда сразу все остальное, что называется внешностью, как бы и не так уж важно. Потому что это и есть самое главное, назови хоть женственностью, хоть очарованием, хоть животным призывом, а я вот предпочитаю называть «внутренним блядством», хоть и знаю, что выхожу за рамки. Но к чему тут рамки, когда правда затронута!

Вспоминаю, как-то поехал я играть в футбол на «Университет», привычка у меня такая была – по воскресеньям в футбол ездить играть. Спорт вообще дело здоровое, да и компания там собиралась. Обычно я ездил один, нечего к физкультурному занятию девушек примешивать, но тут сплеховал, поблажку дал, да и ты больно просилась, вот и захватил с собой. Помню, переоделся во все потрепанное, замызганное, футбольное и стал пылить по сухому августовскому полю в погоне за мячиком, а ты уселась неподалеку на скамеечку сбоку, подставив тело тоже сухому и тоже пыльному солнцу, загорая как бы.

Сразу оговорюсь, что одета ты была вполне традиционно, даже консервативно – в джинсиках и маечке, даже не очень обтягивающей и не очень открытой, – но как-то так вдруг для всех участников игра в мяч утратила всякий интерес, как-то затихла и утратила. Мяч еще катился, конечно, но никто его направление особенно не отслеживал, все какие-то вялые стали, состав команд, кто за кого, уже особенно не различали, потому как... Затмила ты, Инка, футбол.

И чем затмила, спрашивается? Да ничем! Просто сидела

как-то так расслабленно, руки разбросала, голову склонила, коленки острыми башенками выстроила, и столько из тебя внутреннего затаенного желания исходило, что кому какая игра впрок пойдет? Мне даже неловко тогда стало, что вот девушка моя такое внимание похотливое привлекает, хотя я-то знал, что в тот конкретный момент все твое это внутреннее свечение только на меня одного и направлено было.

Ведь бывают такие счастливые мгновения, хоть редко, но бывают, когда только на тебя одного и ни на кого больше, никогда в жизни, ни за что, никогда... клянусь... веришь? Жаль, конечно, и порой несказанно, что недолго они длятся, мгновения эти, и каждый раз обрываются самым не подходящим для тебя образом. А еще обиднее – это когда ты все еще в мгновении и все равно понимаешь, что чего ни делай, как ни старайся – все равно оборвется. Сам цинизм жизни обиден.

Но тогда, помню, цинизм был ни при чем, а все равно распалась футбольная игра и разошлись мы тут же, не поразив ни разу ворота, потому как потеряли они смысл, ворота эти.

Я почему ведь, Инесса, так пространно о тебе? Ведь мог бы просто описать твою внешность, привел бы параметры в цифрах, как сейчас делают, – размер, длину, объем, может, они поразили бы кого, но как иначе описать то впечатление – нет, неверное слово – не впечатление, а настроение, которое ты создавала? Ведь иначе никак не описать, чтобы втемяшилась ты в избалованное читательское воображение.

Вот вытягиваю я тебя, Инесса, в эти недлинные строки в меру выделенного мне умения, но, если честно, чувствую, как укореняется в моем смущенном подсознании подлая червоточинка. Укореняется и гложет. Вот мерещится мне, что жена, верная моя подруга многих предыдущих лет, когда-нибудь прочтет эти строки. И жутко мне становится от этой мысли, Инесса! Потому как, может, ты не знаешь, но те, которые рядом с автором, совсем не рассматривают этого автора абстрактно, а, наоборот, вполне конкретно, и подозревают они в его творческих словах конкретику и за нее порой судят его немилосердно. Вот и меня за эти самые строчки осудят потом.

Конечно, об истории этой правдивой про тебя, про нас с тобой и про то, как, напомним, меня убивали, сам я жене рассказывать не стану. Но жена моя, напомним, подруга верная, и добавлю – чтобы сгладить будущую неизбежную неприятность – к тому же и любимая, она наверняка наткнется когда-нибудь на эту книжечку. И даже если спрячусь я под нелепым псевдонимом, все равно раскусит она его, так как проницательна и нюх у нее на меня непропорционально развит.

И знаешь ли ты, Инесса, что она мне устроит? Скажу прямо, проведя нечеткую историческую параллель: Варфоломеевскую ночь она мне устроит. Но и не только ночь, а день она мне устроит тоже, хоть и не гугенот я никакой. И бу-

дет длиться эта ночь, а вслед за ней день, долго-долго, и я, пусть заблаговременно, но понимаю ее, жену мою, и сочувствую ей, хотя и все равно побаиваюсь ее очень. Ведь обидно может стать жене моей, что храню я в памяти твое описание, Инесса, что не затмилось оно годами верной супружеской жизни, что по-прежнему упоминаю про пламень в предательских чреслах и про прочее тоже упоминаю. А кому не было бы обидно? Всем было бы, и мне тоже.

Конечно, я буду оправдываться и буду напирать на свое авторское право, буду утверждать, что большая литература только искренностью и берет. И про писательскую фантазию тоже вспомню, и может, и сглажу я чего немного, но все равно оставлю в жене своей осадок, и кто знает, может, и затаит она чего против меня. А затаив, может, и отомстит когда, и тогда придется мне подумать дважды, прежде чем снова напишу о ней: «верная подруга моя».

Вот видишь, Инесса, на какие тревожные муки и жертвы будущие я себя предназначаю, вот видишь, как тревожно мне сейчас писать эти правдивые строки, за себя тревожно. Но верь мне, не дам я слабинку, а прочешу насквозь через задуманный мной рассказ, и рука не дрогнет, и глаз не моргнет, и ничего я не приукрашу, ничего не преуменьшу, и все ради тебя, да еще искусства ради, Инесса.

Начнем снова: время было солнечное, и тебе было двадцать один. Ты как раз сидела тогда на дипломе по окончании какого-то технического вуза, и для тех, кто не знает,

поясню, что самое лучшее это время во всей человеческой жизни, когда справляешь ты свой завершающий дипломный проект. Потому что промежуточное оно, а промежуточные состояния – они самые легкомысленные, так как не должен ты никому ничего. Вот и здесь: и институту родному, учебному ты уже ничего не должен, но и с будущим производственным коллективом тоже пока судьбами не связался.

Вот и ходишь ты по большому городу безалаберный, петляешь по его изогнутым улицам, к тому же, напомним, солнечно вокруг, и так как душа у тебя легкая, то легко и притягивается она к людям разным, событиям и чувствам, конечно, тоже. Ну, чего я тебе-то об этом, Инка, ты ведь сама знаешь.

Я в то время снимал меблированную квартирку где-то на окраине Измайловского парка. Как сейчас помню – за семьдесят рублей в месяц, денег, понятно, было жалко, но не очень.

Дедок, который мне ее сдавал, очень беспокоился, что бдительные власти засекут его нетрудовые доходы, так как (и здесь юный читатель, пропустивший коммунизм, удивится) за деньги ничего сдавать тогда не позволялось. Дедок, впрочем, был еще крепкий и поэтому, оплакав потерю своей прежней супруги, решил снова обзавестись семьей и для этих целей подыскал новую подходящую бабуся, к которой и переехал пока. Видимо, чтобы проверить не спеша, что к

чему, не ошибся ли, притрутся ли они друг к другу.

Впрочем, зачем это я так цинично? Может, у них любовь приключилась с бабусей новой. Я ведь не вру, время было солнечное, да и на пенсии сидеть – оно вроде как на дипломе – тоже ведь никому ничего не должен. И хотя на помощь виагры тогда еще не рассчитывали, только лишь на свои собственные силы, но я ведь говорю – крепкий был дедок.

В общем, снял я у него квартиру эту вполне уютную, с кухонькой и балкончиком, как полагается, всю коврами увешанную – на стенках, на полу, даже на диване раскладном, на котором я проводил большую часть теплых августовских ночей и который как-то потерял свою сбитую крепкость от частых моих бессонных исканий. (Или метаний, не знаю, как лучше сказать. Наверное, все же – метаний.) Он как-то весь, ну, не распался, конечно, а расползся, что ли, сразу видно было, что потерялась в нем конструкторская цельная стройность. На глаз, может, и не было видно, но если сесть или прилечь – тогда видно, тогда не ошибешься.

Прости, дедок, не специально я, просто получилось так, знаю, не ожидал ты этого от меня, приличного научного работника. Ты поверь, если утешат тебя еще мои заверения, что каждый раз мне и самому было совестно, когда слышал я его, диванные, жалобные скрипы, и даже сбивали они меня порой. Так как сразу всплывал в моем совестливом сознании твой укоризненный образ, а главное – образ твоей новой пожилой подруги. И так нехорошо она на меня смот-

рела, качая головой в цветастом платочке, осуждая и говоря как бы: «Ай-ай-ай, как нехорошо, внучек. Что же ты на диване творил такое неаккуратное, что он такой изуродованный сделался? Что ж ты о нас не подумал, о стариках? Как же нам теперь на нем, шатающемся, с любовью управляться? А?»»

Вот такие преследовали меня кошмарные видения, дедок, в самый неподходящий момент преследовали. Ну и, сам понимаешь, сбивают они! С тональности сбивают, с общей ритмики, да и вообще...

А ты, Инесса, думала в такие мгновения, что изменило тебе твое очарование, и пыталась отчаянно наверстать, за что я до сих пор тебе признателен. Ведь не догадывалась ты, что это все из-за глупости ненужной, что это за бабулю я так переживаю неадекватно.

Видишь ли, мужской организм – он ведь на самом деле тонкий, хотя вы – все те, кто со стороны, – о нем ошибочно думаете иначе. Но он правда чуткий, ему порой настрой нужен и концентрация, хоть назови это чувством или, например, красивым словом «вожделение», но он ведь, мужской организм, не полностью подотчетен своему владельцу и вытворяет порой чего захочет, так что ты сам потом удивляешься: ну чего это ему взбрело! И хотя подчас ставит он нас в затруднительные положения, но согласись, Инесса, уважения ведь тоже заслуживает за свою независимость и избирательность.

Вот именно «избирательность», правильное слово. Мудр он, наш мужской организм, и ограничивает естественным путем нашу природную мужскую неразборчивость, по-научному – полигамность.

Ты уж нацелился, надвинулся, а он тебе: «Стой, ты куда?». Ты ему в ответ: «Да вот тут, ненадолго». А он опять: «Да не надо тебе». «Ну как же, – отвечаешь ты, – ненадолго ведь». А он: «Да не в этом дело, не нужно нам это с тобой». И по опыту своему личному я убедился, и потому другим искренне советую: не надо ему перечить, лучше согласись, все равно потом по его выйдет, только память плохая останется.

Впрочем, не хочу, Инесса, чтобы расстроилась ты совсем, не все так печально, бывает и на нашей улице, сама знаешь, праздник с фейерверками. Потому как бывает, что начинает он тебе нашептывать втихаря: «Смотри, мол, вот это правильно, вот здесь не ошибешься, это ценится, и давай, мол, стремись, я тебя поддержу только». Ты ему в ответ с сомнением: «Да нет, не подходит оно. К тому же и времени нет совсем». А он: «Ни хрена ты, старик, во времени не понимаешь. И не только, кстати, во времени».

И опять я всем советую положиться на его правдивую оценку, так как желание, в отличие от холодной рассудительности, не обманет и не подведет, и вознесешься ты высоко, даже выше собственного представления о себе.

В общем, больше ничего особенного я про эту квартиру не

помню, только лишь диван, балкон да и кухоньку, на которой я трудился иногда, разложив бумаги на ее кухонном столике. Дело в том, что было мне тогда лет двадцать шесть или семь и я упорно вкалывал над технической своей диссертацией.

Давай вздохнем вместе, Инесса, по ушедшему времени, которое, можно сказать, идеалистическое было тогда. И люди в нем попадались тоже идеалистические, которые не только к деньгам стремились, как все сейчас, но были у них вдобавок другие ценности и другие идеалы. Вот и я, Инесса, считался из их числа.

Служил я тогда на научном поприще в самом что ни на есть академическом институте.

Тоже, надо сказать, веселое было заведение и вообще-то требует подробного веселого описания, но сейчас я это дело пропущу, а то и так длинно получается. Люди вокруг меня, старшие мои товарищи, были давно уже защищенными и смотрели на меня с недоумением, мол, а этот-то чего, может быть, мы зря к нему так доброжелательно. Вот я и засел.

Нельзя сказать, чтобы мы и до этого очень часто все на работе встречались, то у них дела, то у меня, но тут как засел, вообще о них порой забывать стал. Раз в неделю мы все же виделись, по средам, по-моему, быстренько расставляли шахматы и успевали разыграть пару драматических пятиминуток. И вроде бы как все, вроде бы как больше нечего было там делать.

Я подходил тогда к шефу, тоже колоритному парню, тоже

требующему описания, но тоже не буду, и говорил:

– Ну чего, Миш, – говорил я, – поеду я. Диссер буду писать.

– Сам будешь? – спрашивал он меня всегда одно и тоже, а глаза его были, как поется в песне про глаза, «далеки, далеки», что-то таилось в них туманное, в его глазах, я пытался распознать: может, он раздосадован чем-то, может, хочет чего-то от меня. Но он не хотел. Он вообще нравился мне, мой шеф, и потому я старался разобраться, что же у него такое мутное в глазах, – но не мог.

– Сам, – отвечал я со вздохом. – Нет чтобы помог кто! Другим, вон, все помогают. Может быть, я тогда... – Но от этих моих слов тумана в его глазах набиралось еще больше, и я в сердцах махал рукой и обрывал фразу.

А потом я ехал в свою меблированную квартирку, раскладывал бумаги, как уже говорил, за кухонным столиком и, сжимая голову руками, все силился понять, о чем же ее писать, диссертацию эту чертову. Не то чтобы темы не было, тема как раз была, но слова, всякие технические, и связанные с ними формулы крайне тяжело из меня извергались. Извергались, но редко и крайне тяжело.

К тому же это хорошо известно: умственная деятельность – она ведь утомительная очень, и изматывает порой до изнеможения, и нельзя с ней долго, часа два еще можно, но дольше нельзя – измотает. И поэтому требовалась мне периодическая разрядка. И вот на нее, на разрядку, много всего как

раз и уходило. Но я не жалею, до сих пор не жалею – ни времени, ни усилий, ведь именно поэтому нам, Инесса, и есть что с тобой вспомнить.

Ну вот теперь наконец-то вводная и закончилась. Длинная она получилась, вводная, но зато все в ней расставлено, все понятно – и про тебя, Инесса, и про время, и про квартиру с диваном, и про меня самого, – все отчетливо так расставилось по своим заготовленным местам. А раз так, то пора переходить к тому самому дню, о котором и речь, к тому роковому дню, когда меня убивали.

День этот был особенный, праздничный, первое сентября, важный день в культурном календаре нашего народа, и хотя начался он для меня небывало рано, ничего особенного не предвещал. Вернее, предвещал, но только хорошее. Мы ведь все знаем, первое сентября – цветы, астры, горящие глаза, белые фартучки, хризантемы, большие банты, раскрасневшиеся щечки, гладиолусы, волнение, которое передается вокруг и родителям, и учителям, и даже просто прохожим, спешащим к своим трудовым проходным.

И только мне оно, волнение это, не должно было передаваться. Потому что обычно я в такие ранние рассветы еще сплю, и от того, что утро подкрадывается и уже близко и я его как бы уже ощущаю чуть-чуть, мне от этого обычно осо-

бенно хорошо – от смутной внутренней такой догадки: что утро уже здесь, а я вот еще сплю.

Но именно в то очень раннее, по моим понятиям, утро мне что-то стало пронзительно мешать. Я попытался отделаться, но не получилось. Пришлось открыть глаза и убедиться, что все по-прежнему хорошо: из открытого окна растекается небо голубое, солнышко светит, деревья листвой своей, все еще пышной, где-то рядом с окошком колышут, птички по ним снуют и чирикают – в общем, чудесное такое утро, полное обещаний.

Вот только звук какой-то пронзительный, зовущий, нельзя сказать, чтобы тревожный, но зовущий – это точно. Обычно такой звук от двери исходит, когда в нее звонят. И хотя неплохо было бы полежать еще немного, помечтать, подумать о чем-нибудь славном, но не получалось никак. Ладно, пришлось встать, набросить халат, не мог я без халата, Инесса, и идти открывать дверь. Ну и пошел и открыл.

После яркой от света комнаты за порогом было сумрачно, и мне пришлось прищуриться, но я все равно разглядел. Передо мной стояла пионерка. Деталей не различил, говорю ведь, темно было на лестничной площадке, темно и почему-то подозрительно сыро, но общую картину ухватил.

Она была высокого подросткового роста, белый праздничный передничек прикрывал укороченную – не скажу намного, но несколько выше колен – школьную черную юбочку,

такие же белые гольфики поднимались по ноге опять же почти до коленок. Но главное, на шее развевался алый пионерский галстук, развевался и трепетал от прострельного подъездного сквозняка. По галстуку и догадался – пионерка. Так бы, наверное, подумал, что комсомолка, но, завидев галстук, сразу понял – пионерка. Конечно, я ошалел, спросонья-то. Ошалел, но тем не менее не растерялся, ведь сам когда-то состоял.

– Будь готов, – пусть вяло, но все же отреагировал я и потом, пытаясь мучительно догадаться, чем именно я мог заинтересовать праздничное юное создание, добавил:

– Всю макулатуру давно сдал в соответствии с декретом правительства. Вместе с золотыми слитками и прочими сокровищами пролетариата. Вы бы к соседям налево зашли. – Я заговорщицки покрутил глазами яблоками и перешел на подленький шепоток: – У них наверняка схоронено.

Но пионерку моя неразборчивая реплика не обескуражила, она как стояла настойчиво, так и продолжала стоять. Светлые прямые волосы, подстриженные под модную тогда прическу сессон (а может, и сейчас модную – я ведь про сейчас не знаю), которую я как увидел, так сразу понял – сессон, закрывали большую часть лица. Мне даже показалось, что она, пионерка, улыбается из-под прически.

И тут до меня дошло: да это же дедкина (ну, у которого я квартиру снимал) внучка. Небось она за ним пришла, чтобы вместе в школу, на первый звонок. Это вроде как связью

поколений называется.

– А дедушки нету. – Голос мой стал вежливым, я и к де-
душке со всей душой, и к внучке был готов. – Он... – я пы-
тался вспомнить, куда же он уехал, и вспомнил, – к бабушке
подался, ненадолго.

Прошло время, внучка молчала, сон отпустил еще ка-
кой-то кусок моей всклокоченной головы, и только благода-
ря этому я понял, почему девочка безмолвна. Чего-то я не
то сказал все же: не мог ее дедушка к ее бабушке податься,
померла ведь бабушка не так давно. То есть податься-то он
к ней мог, но вот не мог ненадолго, а я именно так и сказал:
«ненадолго». Я тут же понял, что надо поправиться и пояс-
нить.

– То есть нет, – поправился я, – к новой бабушке, к вну-
чатой мачехе твоей новой. – Она, видно, не поняла, да я и
сам не понял. – Ну знаешь, бывают внучатые тети, внучатые
племянницы бывают, ну а она тебе, значит, внучатой маче-
хой приходится.

Но это мое пояснение пионерку отнюдь не удовлетворило.
Она так и стояла, и фартучек заметно оттопыривался у нее
где-то на уровне, где должен был быть комсомольский зна-
чок. Но его не было. «Ничего, – предположил я, – будет еще.
Не хуже ведь она других, других ведь принимают».

И эта простая мысль полностью отогнала беспорядочно
рассыпавшийся сон, и я сразу стал мыслить спокойно и ло-
гично, как и полагается мыслить каждому ответственному

гражданину моей бескрайней отчизны. А как стал мыслить, тут до меня дошла страшная очевидная действительность. И дошло до меня, что пропал я.

– А... – выдохнул я изо рта воздухом и звуком.

«А...» – и ладонь моя прикрыла выпускающий все это рот, так что даже халат оттопырился, заголяя то, на что мнимой пионерке смотреть не полагалось. Ведь не какой-нибудь я Гумберг Гумберг.

Ты спросишь, Инесса, почему «мнимой», и правильно, кстати, сделаешь. Да потому, что я вспомнил в то самое критическое мгновение, как дедок мой, крепко наученный прошлым, да и настоящим наверняка тоже, предупреждал меня, чтоб осторожен я был, чтоб не попался на хитрую приманку следственных и проверяющих ведомств.

«Потому как, – объяснял он мне, – ведомства эти завсегда в дозоре и за снятую за деньги квартиру запросто могут наказать нас, тебя и меня. Ну конечно, если разоблачат и установят. И ты не отпирай кому ни попадя, – напутствовал меня дедок, – не отпирай, чтоб от греха подальше».

А он знал про это, про «от греха», дедок-то, он жизнь уже к тому моменту прожил и знал, не то что я, глупый, легкомысленно порхающий птах. Вот и влип я, не видать мне теперь почти готовой диссертации, отберут ее у меня, дитя мое недоношенное, и вообще, глядишь, еще вышлют вдаль, и где я себе найду там, вдали, достойного напарничка на пятиминутный шахматный блиц...

Все эти страшные видения разом просочились через мое в момент притухшее сознание, потому что я тут же разгадал в странной пионерке переодетую милиционершу из паспортного стола, застукавшую вот прямо сейчас меня с поличным. Я имею в виду в халате, даже не запахнутом до конца, в чужой квартире, в которой черт знает сколько улик они могут собрать, начиная с отпечатков до окурков со следами губной помады.

Надо было срочно поправиться, как-то объясниться, растолковать все представителю властей, и я начал, осторожно так:

– А я его племянник, знаете ли, из Сыктывкара приехал давеча. – И так как переодетая пионеркой милиционерша продолжала отмалчиваться, я добавил для наглядности: – Да вот, приехал, значит, в столицу диссертацию дописывать. Начал давно, еще в Сыктывкаре, но там материала не хватило, вот я сюда и подался. Там, знаете, хроническая нехватка с материалом. Хотите, я вам ее почитаю? По памяти. Там интересно...

Но тут и уголовная моя версия рухнула в никуда, как до нее внучкинская, рухнула и рассыпалась. Потому что пионерка вдруг протянула ко мне левую руку, спрятанную до этого за спиной, и в лицо мне брызнул цвет и запах свежесрезанных и ранее не замеченных мной цветов. И звонко она так, по-пионерски задорно даже, отрапортовала:

– Это вам, учитель. Спасибо за все!

Удивился ли я? Да-да, удивился, но и облегчился одновременно, потому как лучше я буду каким угодно учителем, чем злостным нарушителем уголовно-правовых отношений, бытовавших в то время между жильцами, населяющими вместе со мной страну. И поэтому я взял цветы, понюхал и с благодарностью в голосе ответил:

– Спасибо, – ответил я, а потом, подумав так основательно, добавил с сожалением. – Но знаешь, детка, тут промашка, нет тут больше школы, закрыта она. На карантине школа. Видишь, эвакуированы все, я один на вахте остался. – Я указал внутрь маячащей комнаты.

Надо сказать, что я скомкал фразу, начиная с самой середины, потому как что-то мне почудилось наигранным в ее голосе – интонация, и тембр, и ясная звонкость. Все они казались фальшивыми и неестественными, и я тут же снова заподозрил, но теперь только хорошее.

– Никого? – удивилась она уже совсем другим голосом и женским таким движением ладони, которое нам, мужчинам, даже не надо пытаться повторить, отодвинула краешек прически сессон со щеки. – Можно посмотреть? – не поверила она мне, протискиваясь бочком в тесное пространство между мной и косяком двери, плотно задевая при этом и косяк, и меня.

– Да-да, – сбивчиво соглашался я, пряча все еще не верящее лицо в букет. Она вошла в комнату, дверь захлопнулась за нами, отделив от остального темного и сырого мира, она

повернулась ко мне – в глазах, в руках, в улыбке была любовь.

– Действительно никого, – согласилась она, но я не услышал разочарования. – Ну, может быть тогда еще один урок, учитель? – спросила она, не опуская своих стыдливых пионерских глаз.

Дальше я прерву повествование, так как не буду я описывать, что именно было дальше, не для этого рассказа такое описание. Такие описания для других моих книг, длинных, таинственных романов, написанных совсем по другому поводу, совсем про другое и совсем о других. А в этом рассказе такое описание не к месту, так как утяжелит оно рассказ, уведет в сторону сюжет, так что, глядишь, не вернешь его обратно.

Скажу только, что по прошествии длительного времени (к сожалению, не могу назвать точно в часах и минутах, так как не засекал впопыхах), когда наконец отвлекся, стал я задавать Инке справедливые вопросы:

- Как на тебя форма школьная налезла?
- Почему волосы такие короткие?
- Когда прическу успела сделать?
- Как тебя в метро народ не распознал и не застыдил?
- Что в портфеле принесла? Пенал? Дневник?
- В общем, много у меня разных вопросов накопилось. А потом задал последний, самый важный:
- Как додумалась-то до такого?

Посмотрела, Инка, ты тогда на меня, бестолкового, пожурила взглядом, вздохнула и сказала с расслабленным облегчением, как выдохнула:

– Люблю я тебя, Толька.

И все, и не задал я больше ни одного вопроса.

И вот сейчас, Инесса, пишу я эти строки о тебе и не понимаю снова: ну зачем ты в прошлом? Ведь с такой отчаянной фантазией надо только в настоящем находиться. Зачем разбазариваешь ее зря для кого ни попадя в каменном городе Нью-Йорке, зачем пускаешь ее под откос мелкими, прозрачными дозировками? Ведь так и хочется крикнуть в пространство: «Не надо, Инесса, не разменивайся!»

Но молчу я, не кричу. Так как не уверен, подойдет ли тебе все еще то старое школьное платье с белым праздничным фартучком.

Впрочем, загребем мы все печали и сомнения своими мужицкими, заскорузлыми ладонями и отбросим, никчемные, в сторону, и окажемся мы снова в прошлом, в нашей съемной меблированной квартирке. Ведь только потому прошлое и существует еще, только потому его еще не задавило навалившееся тяжеленное настоящее, что сижу я и вспоминаю его, перебираю в себе и оправляю в какой-никакой текст.

Ты, Инесса, тогда разомлела и через какое-то время снова приникла ко мне, но опять не буду я в подробности вдаваться

– слово «приникла» вполне достаточно описывает мизансцену. И, видимо, так ты на тот момент в самом деле разомлела, что вырвалось у тебя, как вздох вырвалось, не удержалось.

– Ты мой Мастер! – вырвались из тебя внезапно трепетные, благодарные слова. И догадался я, что это обо мне ты так.

Другой бы на моем месте обрадовался, другому бы эти слова как мед; кому же это Мастером неохота быть, особенно для женщины, которая выдыхает из себя эти податливые, почти что мазохистские чувства. А если бы этот, другой, к тому же был знаком с отечественной классикой, то сразу распознал бы в выдохе цитату из одноименного романа про Маргариту, который на тот момент был просто-напросто культовым, особенно для читающих девушек от восемнадцати до двадцати четырех лет.

Но я, хоть и знаком был с произведением не понаслышке, все равно его как источник вот этой трепетной фразы не определил сразу. Потому как подавила меня тогда совсем другая ассоциация.

Дело в том, что наблюдалась у меня пусть и зыбкая, но отчетливая связь со строительным миром. Был у меня старый кореш, Колька Бугров, служивший так называемым начальником стройки какого-то наполовину замороженного объекта в самом центре Москвы. Объект строили очень давно, все уже и позабыли, чего именно они там строят, и вот Колька мой оказался там самым главным, и вообще звали его там

Николаем и даже как-то уважительно по отчеству, которого я, впрочем, не знал. С Колькой мы закорешили давно, на юге, где-нибудь в Гурзуфе за ежедневным преферансом на пляже, я тогда еще студентом был, а он тоже только прилаживался к строительной своей карьере.

Но это все не важно, это я только для того, чтобы пояснить, что не было в наших отношениях никаких элементов вертикальной субординации. Хотя с другими людьми у Кольки такие отношения имелись, так как ходили под ним штук пять прорабов, а под каждым прорабом ходили по пяти мастеров, а под каждым из них – несметная куча строителей. Я их – ни прорабов, ни мастеров – никогда, честно говоря, не видел, так как заезжал я к Колян на стройку в основном в конце недели, да и то вечером. Потому как Колян отстроил себе на объекте некую бытовочку, в которой не стыдно было принимать иностранные посольские делегации и даже почетный караул можно было выстраивать, если бы не частая распутица, да и вообще общий бардак снаружи.

Так что почетного караула никто не выстраивал, наоборот, подтягивались мы все к той бытовочке, стараясь незаметно, стараясь не привлекать, где-нибудь в пятницу, субботу, часам к девяти, десяти вечера. Ты не знала об этом, Инесса, потому как скрывал я от тебя про бытовочку, ведь появилась она еще задолго до тебя, и закончилась значительно после.

Так как хорошо известно – всегда существовал в Москве так называемый квартирный вопрос, особенно для холостых мужчин, хотя для женатых существовал тоже, и важна была для нашей жизни уютно обставленная бытовочка в самом центре Москвы. Настолько уютная, что часто возникало у меня обоснованное подозрение, что именно из-за нее и не ладится строительство основного объекта. На что строить-то его, когда все на бытовочку ушло? Впрочем, я не роптал, да и, насколько мне известно, никто не роптал.

Сейчас-то строительный объект уже давно выстроен и украшает архитектурный ландшафт города, а вот бытовочки там уже нет. Думаю, сволок ее Колька к себе на дачу, где наконец-то, возможно, и принимает посольские иностранные делегации, и не исключено, что и почетный караул там выстраивается под медные звуки, например «Прощания славянки».

В общем, Инесса, к чему я это все? К тому, что хоть строительного дела я никогда подробно не изучал, но с иерархической строительной структурой мастер – прораб – начальник (где мастер, повторю, есть самое низшее звено) я был непосредственно знаком. И именно поэтому, когда ты прошептала едва-едва заветные слова, напомним: «Ты – мой Мастер!» – сложились у меня совсем отличные от литературной классики ассоциации. Ну, не различил я большой буквы «М» в слове «Мастер».

Ну, а как не различил, так обидно мне стало. И вот так, не переставая трудиться, подумал в сердцах: «Вот тебе на, – подумал я, – трудишься тут, трудишься, а все в мастерах ходишь. Колька вон, тот уже давно начальник с бытовкой, а я почему-то все в мастерах». И понял я, что не смогу смолчать, в другом месте и при других обстоятельствах смолчал бы, но вот сейчас, при данных обстоятельствах, – не смогу. И вырвалось у меня возражением:

– Не мастер я, – выдохнул я обратно в тебя.

И так как ты, Инесса, тогда от этих слов вся замерла, не понимая моего непредвиденного отрицания собственного же Мастерства, то я и продолжил, но уже глуше и с напором:

– Не мастер я. Я Прораб! – Вот так именно и отчеканил, выделяя каждый слог: «ПРО-РАБ»! А потом еще раз повторил для пущей убедительности, особенно ударяя на каждой звонкой согласной. А там их, кстати, четыре.

А потом случилось так, что то, к чему другие люди так долго стремятся, и если уж добились и вошли туда, то стараются сберечь и не посрамить, у нас тогда все это рассыпалось прямо на глазах. Потому что ты, Инка, стала хохотать и уже не могла больше сосредоточиться, да и я тоже не мог, сначала от все еще гложащей обиды, а потом тоже от смеха. Так мы и раскатились по дивану, по разным его застеленным концам, и долго еще не могли остановиться, да и почему надо останавливаться – праздник ведь, первое сентября. Ну а потом уже не до того было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.